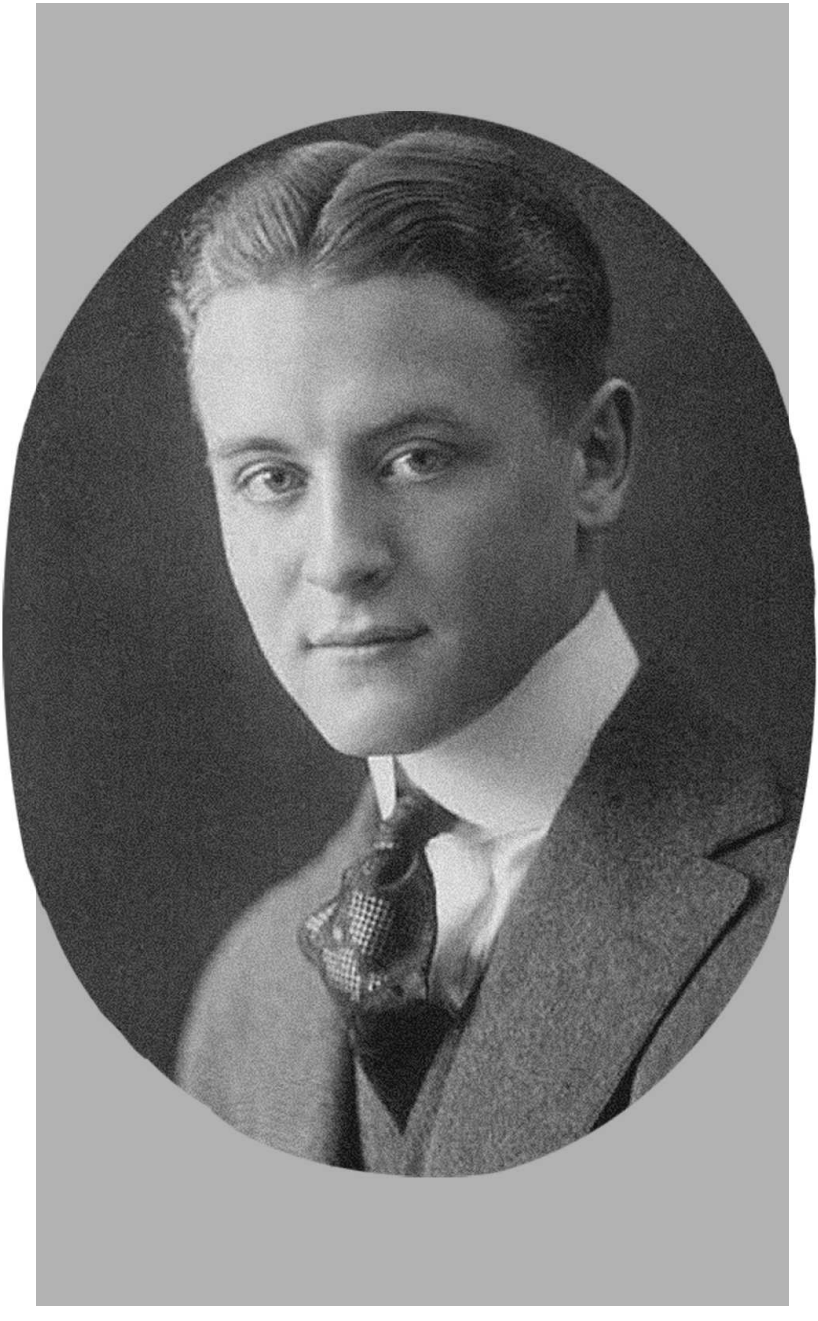
Элегантная классика



Великий Гэтсби

Фрэнсис Скотт
Фицджеральд

Москва
2024

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
Ф66

Перевод с английского

Оформление серии Яны Паламарчук

Оформление переплёта Натальи Каштыкиной

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт.

Ф66 Великий Гэтсби / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; [перевод с английского С. Ильина, О. Сороки]. — Москва : Эксмо, 2024. — 352 с. — (Элегантная классика).

ISBN 978-5-04-173195-3

Фрэнсис Скотт Фицджеральд — американский классик мировой литературы. Писатель, ярко и беспристрастно отразивший безумную жизнь 20-х годов. Он и сам был плотью от плоти той легендарной эпохи. Но эксцентричность и внешняя позолота канули в прошлое, и в настоящем остались его бессмертные книги.

«Великий Гэтсби» — самый известный роман Фицджеральда, ставший символом «века джаза». Америка, 1925 г., время «сухого закона» и гангстерских разборок, ярких огней и яркой жизни. Но для Джея Гэтсби воплощение американской мечты обернулось настоящей трагедией. А путь наверх, несмотря на славу и богатство, привел к тотальному крушению. Ведь каждый из нас в первую очередь стремится не к материальным благам, а к любви, истинной и вечной...

В издание также включен неоконченный роман «Последний магнат» о владельце огромной студии в Голливуде, настоящем баловене судьбы. Он воплотил в жизнь мечту, которая стоила утерянного человеческого счастья.

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-173195-3

© Ильин С., перевод на русский язык. Наследники, 2024
© Сорока О., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Великий Гэтсби

Надень золотую шляпу и скачи перед ней,
Пока она не скажет: «О возлюбленный мой!
О мой возлюбленный златошляпый прыгун,
Я буду навек с тобой!»

Томас Парк Д'инвильерс[1]

[1] Псевдоним Ф. С. Фицджеральда, герой его якобы автобиографического романа «По эту сторону рая» (1920).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В пору моей впечатлительной юности отец дал мне совет, который с того времени нейдет у меня из головы. «Всякий раз, как у тебя возникнет желание осудить кого-то, — сказал он, — вспоминай, что не все люди получили на этом свете блага, которые выпали на твою долю».

Вот и все, что он мне сказал, впрочем, разговоры наши всегда отличались редкостным немногословьем, и потому я понял: отец подразумевал нечто большее. В результате я приобрел склонность воздерживаться от любых суждений — привычка, благодаря которой мне раскрывало души немалое число интересных людей, хоть она же и обращала меня в жертву закоренелым занудам. Обладатель не вполне нормального разума умеет быстро обнаруживать такую склонность в человеке нормальном и вцепляться в него мертвой хваткой, отчего и получилось, что в колледже меня несправедливо считали тонким интриганом, поскольку люди, никому не любопытные, дичившиеся всех прочих, посвящали меня в свои горестные тайны. По большей части я их откровений отнюдь не искал и нередко, едва поняв по некоторым безошибочно узнавае-

мым признакам, что на горизонте замаячила интимная исповедь, изображал сонливость, великую занятость или неприязненную легковесность; ведь интимные исповеди молодых мужчин или, по крайней мере, выражения, в которые они облекаются, как правило, отдают плагиатом либо основательно замутняются очевидными недомолвками. Воздерживаться от суждений — значит питать неутолимую надежду. Я и поныне боюсь упустить что-нибудь важное, если вдруг забуду то, что не без тщеславия утверждал мой отец и не без тщеславия повторяю я: что краеугольное качество добропорядочности распределяется между нами, рождающимися на свет, не поровну.

Ну вот, побахвалившись подобным образом присущей мне терпимостью, я готов признать, что и ей положены определенные пределы. Поведение человека может иметь фундаментом крепкую скальную породу, а может и болотную топь, однако по пересечении определенной черты я перестаю интересоваться тем, что лежит в его основе. Вернувшись прошлой осенью с востока страны, я томился жаждой единообразия мира: желал, чтобы он, когда дело идет о нравственности, застывал по стойке «смирно», а сумбурные экскурсии с правом осмотра тайников человеческих душ более не привлекали меня. Исключением стал лишь Гэтсби, тот, именем коего названа эта книга, — Гэтсби, олицетворявший все, к чему я питал безучастное презрение. Если личность можно оценивать по непрерывной череде удачных жестов, то в нем действительно присутствовало нечто блестящее, обостренная восприимчивость к посулам жизни; он был подобен сложному прибору, который слышит землетрясения, происходящие в десяти тысячах миль от него. Эта отзывчивость не имела ничего общего с вялой впечатлительностью, которая носит благородное прозвание «творческая натура», — она была поразительным даром надежды, романтической готовности

ко всему на свете, даром, какого я не встречал больше ни в ком и какой навряд ли увижу снова. Нет, в конечном счете Гэтсби оказался человеком замечательным — это те, кто жил за его счет, та грязная пыль, что вилась по пятам за его мечтаниями, — она заставила меня на время утратить интерес к бесплодным печалям и взлетам наделенных куцыми крыльями людей.

Происхожу я из видной, состоятельной семьи, три поколения которой жили в родном моем городе на Среднем Западе. Карраузи — это подобие клана; согласно преданию, мы ведем свой род от герцогов Баклю, хотя непосредственным основателем нашей линии был брат моего деда, перебравшийся сюда в пятьдесят первом, отправивший кого-то взамен себя на Гражданскую войну и основавший оптовую торговлю скобяным товаром, возглавляемую ныне моим отцом.

Двоюродного дедушку мне видеть не довелось; предполагается, однако ж, что я похож на него, — доказательством служит довольно топорной работы портрет его, висящий в кабинете отца. Учебу в Нью-Хейвене я закончил в 1915 году, ровно через четверть века после отца, и несколько позже принял участие в той запоздалой миграции тевтонского племени, что получила название Мировой войны. Наш контрудар доставил мне удовольствие столь большое, что, и вернувшись домой, я все никак не мог успокоиться. Средний Запад представлялся мне теперь не уютным центром вселенной, но ее неказистой окраиной — и потому я надумал поехать на Восток, дабы изучить тонкости обращения с долговыми обязательствами. Каждый, кого я знал, занимался долговыми обязательствами, вот я и решил, что этот бизнес в состоянии прокормить еще одного холостяка. Тетушки мои и дядюшки обсуждали сей замысел с таким усердием, точно дело шло о выборе для меня частной школы, и наконец постановили: «Ну, что же, д-да», сохраняя, впрочем, на лицах мрачное, неуверенное выражение.

Отец согласился в течение года выплачивать мне содержание, и весной двадцать второго я отправился на Восток — навсегда, как я полагал.

Разумнее всего было подыскать жилище в городе, однако время стояло теплое, а я только что покинул край просторных лужаек и приветливых деревьев, поэтому, когда работавший в одном со мной офисе молодой человек предложил снять с ним на пару дом в пригороде, я счел эту мысль превосходной. Он подыскал видавшее виды шаткое бунгало, сдававшееся за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма отослала его в Вашингтон, и пришлось мне отправиться за город одному. У меня была собака — во всяком случае, пробыла несколько дней, пока не сбежала, — старенький «Додж» и финских кровей служанка, которая стелила мою постель, готовила завтрак и вполголоса делилась сама с собой, стоя у электрической плитки, перлами финской мудрости.

День-другой мне было одиноко, но затем поутру меня остановил на дороге человек, приехавший туда позже меня.

— Не скажете, как попасть на Вест Эгг? — сокрушенно осведомился он.

Я объяснил. И продолжил свой путь, уже не терзаясь одиночеством: я обратился в проводника, следопыта, первого поселенца. Сам того не заметив, человек этот даровал всему, что меня здесь окружало, свободу.

В то утро, под солнцем и трепетом листвы, которая словно рвалась из древесных ветвей, как при замедленной киносъемке, ко мне вернулась привычная уверенность: с летом жизнь начинается заново.

Мне предстояло прежде всего столь многое прочитать, впитать столько здоровья из молодого воздуха, которым так привольно дышалось. Я купил десяток томов по банковскому и кредитному делу, по ценным бумагам, и они выстроились на полке, красные с золотом,

похожие на только что отчеканенные монеты, обещая открыть ослепительные тайны, ведомые лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Впрочем, я имел возвышенное намерение прочесть и множество иных книг. В колледже я питал склонность к литературе — в один год написал даже для «Йель-Ньюс» несколько весьма напыщенных и тривиальных передовых статей, — и теперь собирался обновить эту сторону моей жизни, снова стать самым узким из всех специалистов — «широко образованным человеком». И это не праздная ирония — в конце концов, жизнь удобнее всего созерцать, имея в своем распоряжении только одно оконце.

Случай распорядился так, что дом я снял в одном из самых удивительных поселений Северной Америки. Оно находится на длинном, бестолковом острове, что тянется от Нью-Йорка прямо на восток, — здесь среди прочих причуд природы имеется два необычных геологических курьеза. В двадцати милях от города во влажное задворье Нью-Йорка, именуемое проливом Лонг-Айленд — а это самое обжитое в Западном полушарии морское пространство, — вдается пара огромных, одинаковых по очертаниям «яиц», разделенных бухтой, каковую местные жители с учтивой снисходительностью именуют «заливом». Подобно колумбовым, совершенной овальностью эти «яйца» не отличаются, оба слегка приплюснуты со стороны «залива», однако физическое подобие их наверняка сбивает с толку парящих над ними чаек. Бескрылых же существ куда сильнее завораживает их несходство во всем, кроме формы и размера.

Я жил на Вест Эгг, бывшем, как бы это сказать... менее фешенебельным, чем Ист Эгг, хотя это поверхностное слово едва ли передает странный и не в малой мере зловещий контраст двух островов. Дом мой стоял на самой оконечности «яйца», не более чем в пятидесяти ярдах от Пролива, и был затиснут между двумя огромными дворцами, которые сдавались за двенадцать, а то и пятнад-

цать тысяч в сезон. Возвышавшийся справа, колоссальный по каким угодно меркам, был, на деле, имитацией нормандского *Hôtel de Ville*[1] — с фланговой башней, новизна которой просвечивала сквозь реденькую бородку юного плюща, мраморным бассейном и сорока с лишком акрами лужаек и парков. То была обитель Гэтсби. Правильнее сказать, поскольку знакомство с мистером Гэтсби я свел не сразу, то была обитель джентльмена, носившего эту фамилию. Мой же дом представлялся бельмом на глазу, однако бельмом маленьким, и потому его проглядели, а я получил возможность наслаждаться видом на Пролив и на кусочек одной из лужаек моего соседа. Утешительная близость к миллионерам — и всего за восемьдесят долларов в месяц.

На другом берегу «залива» посверкивали выстроившиеся вдоль воды белоснежные дворцы фешенебельного Ист Эгг, и начало истории того лета пришлось, по сути, на вечер, когда я отправился туда, чтобы пообедать с мистером и миссис Том Бьюкенен. Дэйзи приходилась мне троюродной племянницей, а Тома я знал по университету. Кроме того, сразу после войны я провел с ними два дня в Чикаго.

Муж Дэйзи, обладатель множества физических достоинств, был одним из самых мощных тайт-эндов, какие когда-либо играли в футбольной команде Нью-Хейвена — фигурой масштаба, в некотором роде, национального, одним из тех, кто в двадцать один год достигает таких, пусть и до крайности узких, но высот, что дальнейшая их жизнь приобретает привкус поражения. Семья Тома была несусветно богата — даже в колледже его безудержное мотовство порождало множество нареканий, — ныне же он покинул Чикаго ради Востока с размахом попросту ошеломительным: перевезя, к при-

[1] Городской особняк (*фр.*). — *Здесь и далее примечания переводчика.*

меру, из Лейк-Фореста целый табун пони для игры в поло. Трудно представить, что человек моего поколения может быть богат настолько, чтобы позволить себе подобную роскошь.

Что привело их на Восток, я не знаю. Они прожили, без какой-либо на то причины, год во Франции, а после их словно вихрь какой-то носил по местам, где богатые люди играют в поло и упиваются обществом друг друга. Это последний переезд, сказала мне по телефону Дэйзи, однако я ей не поверил — читать в ее сердце я не умел, но чувствовал, что Том так и будет носиться по свету, выискивая без особой веры в успех драматическую взвинченность какого-то невозвратимого футбольного матча.

Оттого и случилось, что теплым ветреным вечером я отправился на Ист Эгг повидать двух давних знакомых, которых почти не знал. Дом их оказался изукрашенным даже пуще, чем я полагал, — то был глядевший на «залив» праздничный, красный с белым особняк георгианской колониальной поры. Лужайка начиналась от пляжа и на протяжении четверти мили взбегала к парадной двери, перепрыгивая через посыпанные толченым кирпичом дорожки, огибая солнечные часы и горевшие множеством красок сады, — и наконец, когда я достиг особняка, вспорхнула яркими виноградными лозами по его боковой стене, словно не сумев приостановить свой бег. Фасад прорезала череда французских окон, распахнутых в теплый ветреный послеполудень и сиявших отражениями золота, а на парадной веранде стоял, широко расставив ноги, одетый для верховой езды Том Бьюкенен.

Он изменился со времен Нью-Хейвена. Ныне это был крепкий тридцатилетний мужчина с соломенными волосами, довольно жестким ртом и высокомерной повадкой. На лице его главенствовали светившиеся надменностью глаза, которые сообщали Тому вид угрожающе подавшегося корпусом вперед человека. И даже дамская